

ОСКОЛКИ ВЕЧНОСТИ



Эдуард Сероусов

18+

Эдуард Сероусов

Осколки вечности

<https://litres.ru/74170188>

SelfPub; 2026

Аннотация

Восемь миллиардов подключённых к глобальной нейросети Weave живут в тёплом гуле общего разума и стоят в очереди за обещанным Вознесением — растворением в высшем. Океанограф Михаил Козлов, потерявший жену — со-архитектора Сети, ныряет к аномалии на трёхкилометровой глубине Атлантики. То, что он находит на дне, поёт на несущей частоте Weave и знает имя каждого. Его дочь угасает в клинике, корпорация Аеон оплачивает лечение и просит взамен только его подпись, а мёртвая жена одиннадцать лет назад оставила три слова: «Не открывать. Маяк». Козлову предстоит выбрать между обещанной вечностью и правом умереть собой — за весь мир сразу.

Содержание

Часть первая. Глубина	4
Часть вторая. Маяк	16
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Эдуард Сероусов

Осколки вечности

Часть первая. Глубина

Батискаф падал в темноту, и Козлов слушал, как океан пробует корпус на прочность.

На восьмистах метрах титан начинал петь. Не скрип, не стон — именно пение, тонкая нота на пределе слуха, будто где-то за миллиметром обшивки натягивали струну и водили по ней смычком из всей массы Атлантики. Аня когда-то сказала, что это звук самого давления, что вода не давит, а именно поёт, потому что не умеет иначе выразить сорок мегапаскалей. Он тогда посмеялся. Инженер не должен говорить о железе такими словами. А теперь он падал в черноту один, слушал ноту и понимал, что за одиннадцать лет так и не нашёл слова точнее.

Приборная панель заливала кабину ровным красным. Козлов не подключался к её отражению в Сети — читал стрелки. На левом запястье, поверх термокостюма, сидел механический глубиномер: латунь, тронутая зеленью, циферблат в мелких трещинах лака. Стрелка ползла по дуге медленно, честно, с той крохотной задержкой, с какой всё механическое отстаёт от истины. Восемьсот сорок. Восемьсот

шестьдесят. Прибор был Анин. Единственная вещь на нём и в нём, не говорившая с Сетью. Он трогал его большим пальцем, как чётки.

Она подарила ему этот глубиномер на десятую годовщину. «Чтобы у тебя была хоть одна честная вещь», — сказала тогда, застёгивая ремешок на его запястье, и он не понял, шутит она или нет. Он всю жизнь измерял океан — соленость, температуру, плотность, память воды, — и всю жизнь ему казалось, что измеренное и есть понятное. Аня знала больше. Аня знала, что прибор говорит тебе число, а не истину, и что между числом и истиной лежит вся человеческая жизнь. Он понял это только теперь, на глубине, где числа наконец кончались.

Тысяча метров. Здесь дневной свет не бывал никогда — ни разу за всю историю солнца. Козлов гасил внутренние огни на минуту, всегда, каждый спуск, — маленький частный обряд. Тьма за иллюминатором была абсолютной, довременной, той самой, из которой всё вышло и в которую всё вернётся. В такой тьме легче было держать Аню рядом. Не думать о ней — держать. Разница, которую он научился чувствовать только после её смерти.

— «Таласса» батискафу, глубина по телеметрии восемьсот семьдесят, — голос Лейлы вошёл прямо в слуховую кору, минуя уши, чистый и близкий, будто она сидела рядом. — Миша, ты слышишь меня как воздух или как воду?

— Как воду, — сказал он. Собственный голос в кабине

прозвучал чужим, слишком телесным после её беспроводной ясности.

— Романтик. — Она диктовала себе заметку, он слышал, как она это делает, не переставая с ним говорить, — та особая многоканальность подключённых, когда человек ведёт три разговора сразу и ни одного до конца. — Спуск штатный. Аномалия по сонару в двух километрах на юго-юго-восток. Аеоп хочет картинку к утру. Аеоп всегда хочет картинку к утру.

Аеоп. Слово опустилось в кабину вместе с ним, лишнее здесь, на глубине, где не было ни акций, ни вознесений, только черная вода и поющий титан. Но именно Аеоп оплатил этот титан. И воздух в баллонах. И ту клинику далеко на западе, за многими часовыми поясами, где сейчас, в глухой ночи, его дочь спала с иглой чужой заботы в виске. За всё платил Аеоп, а Козлов платил Аеоп собой — своим именем океанографа, своей подписью под отчётами, которые кто-то наверху превращал в обещания вечности. Он старался об этом не думать. На глубине легче: давление выжимает лишнее, как выжимает воздух.

Он довёл аппарат по горизонтали к точке аномалии — те самые два километра к юго-юго-востоку, отмеченные сонаром, — и лёг на грунт.

— Есть дно, — сказал он.

Прожекторы нащупали его, и дно оказалось не дном.

Ил лежал ровно, серо-бурый, вечный, как везде на этих

глубинах, где ничто не двигалось быстрее сантиметра в столетие. Но из ила поднималась геометрия. Не обломок, не риф, не всё то, что океан лепит слепо и потому всегда чуть-чуть неправильно. Грань. Прямая, честная грань, уходящая вверх за пределы света, и на ней — угол ровно в столько градусов, во сколько природа не считает. Козлов знал дно так, как другие знают лица родных. Дно не умело этого. Кто-то умел.

— Лейла, — сказал он тихо, будто боясь спугнуть. — Ты видишь мой поток?

Пауза. Короткая, но он услышал в ней, как её три разговора схлопываются в один.

— Вижу, — сказала она, и впервые за спуск в её голосе не было ни картинки к утру, ни Аеон. — Господи, Миша. Что это?

Он не ответил. Стрелка на латунном циферблате дрогнула и встала. А в наушнике, на самой границе слышимого, под пением титана, под шумом собственной крови, проступил другой звук — медленный, ровный пульс, будто где-то в толще кристалла билось очень большое, очень старое сердце, и билось оно, кажется, уже очень, очень давно.

Козлов сам не заметил, как накрыл ладонью Анин глубиномер.

Платформа «Таласса» стояла на четырёх опорах в трёх-

стах милях от Бермуд, и ночью её огни были единственным человеческим на всём круге горизонта. Козлов поднялся из шлюза, стянул шлем, и тёплый солёный ветер ударил в лицо — первое, что он почувствовал по-настоящему за девять часов.

В кают-компании горел свет и работали люди, но работали они тихо, вполголоса, каждый наполовину здесь, наполовину — там, в общей Сети, где данные спуска уже расходились кругами. Козлов видел это по глазам. Подключённый человек смотрел на тебя и куда-то мимо одновременно, зрачки жили своей жизнью, дёргались вслед невидимым окнам. Аня называла это «взглядом сквозь». Он привык. Он и сам так смотрел, когда позволял себе войти в поток. Просто в последние годы позволял всё реже.

Мир держался на Weave, как прежде держался на воздухе, — незаметно и повсеместно. Восемь миллиардов подключённых. Ребёнку вживляли нить при рождении, и он рос, не зная одиночества внутри собственного черепа, — вопрос, мысль, тоска мгновенно находили отклик в общем гуле, и никто больше не умирал в неведении, не терялся, не оставался неслышанным. Это и вправду было похоже на чудо; Козлов не спорил с теми, кто называл это чудом. Он помнил мир до Сети — раздробленный, глухой, жестокий в своей разъединённости, — и не хотел бы вернуть его. Но он помнил и другое: как единый гул незаметно стал единым голосом, а единый голос — единым мнением, и как то, что вчера бы-

ло чудом связи, сегодня оказалось просто отсутствием стен. Аня говорила: «Мы построили дом без единой перегородки и назвали это свободой. А в доме без перегородок нельзя запереться от пожара».

На большом экране кают-компаний, том единственном, что оставили для неподключённых гостей и для красоты, крутилась эмблема Аеон. «ВОЗНЕСЕНИЕ. СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ». Аеон обещал финальную ступень — не связь умов, а слияние, растворение личного в высшем, вечную жизнь без тела, без болезни, без конца. Полтора миллиарда уже записались в очередь. Люди отдавали сбережения за место в списке на растворение самих себя и уходили счастливыми. Козлов смотрел на бегущие слова и думал, что человечество, кажется, единственный вид, научившийся мечтать о собственном исчезновении и называть эту мечту надеждой.

— Ты не подключился ни разу за весь спуск, — сказала Лейла, подавая ему стакан. Не воды — чая, крепкого, обжигающего, она помнила. — Восемь с половиной часов вслепую. Ты читал стрелки, как в двадцатом веке.

— Стрелки не врут.

— Стрелки округляют. — Она села напротив, и мягкое свечение импланта за её ухом пульсировало в такт мыслям — тонкая нить холодного света под смуглой кожей. — А там, внизу... Миша, ты понимаешь, что мы нашли? Это не геология. Это структура. Аеон уже собирает группу интерфейса. Роук лично летит.

— Роук не летает на платформы.

— На эту летит. — Она наклонилась ближе, и в её глазах загорелось то, что он боялся увидеть: не жадность, нет — восторг. Чистый, детский восторг первооткрывателя, тот самый, что заставляет людей класть ладонь на горячее, чтобы узнать, насколько горячо. — Мы стоим над чем-то, что старше человечества, и оно поёт на частоте, которую мои приборы даже не должны ловить. А ловят. Понимаешь? Оно говорит. И мы наконец достаточно умны, чтобы услышать.

Козлов пил чай и молчал. За её плечом на экране эмблема Аеон сменилась новой строкой: «СМЕРТЬ — ЭТО ЗАДАЧА. МЫ РЕШАЕМ ЗАДАЧИ». Красиво сделано. Всё у них красиво сделано.

Пришёл счёт. Он почувствовал его не глазами — коротким служебным уколом в основании черепа, тем самым, каким Сеть трогала даже отключённого от потока, если у него оставался медицинский минимум. «Клиника Меридиан. Курс нейромодуляции, пациент Козлова Н. М. Оплачено. Спонсор: Aeon Industries». И ниже, мельче: «Следующий сеанс через 72 часа. Состояние пациента: стабильно-нисходящее».

Стабильно-нисходящее. Два слова, за которые он продал бы душу, если бы верил, что она у него ещё есть. Он допил чай.

— Роук пусть летит, — сказал он. — Я спущусь ещё раз до него. Хочу увидеть основание, пока туда не влезли инженеры

интерфейса.

Лейла посмотрела на него тем самым взглядом сквозь — сверялась с чем-то в Сети, — и вдруг сфокусировалась целиком, вся, здесь.

— Ты как будто торопишься попрощаться, — сказала она. Он не нашёл, что ответить, и это само было ответом.

На верхней палубе, где ветер выдувал из головы чужие голоса, курил единственный на «Талассе» человек, куривший по-настоящему, — с огоньком, с бумагой, со старомодным вредом. Козлов вышел к нему, потому что не мог ещё идти в каюту, где его ждала папка с тремя словами.

— Доктор Козлов, — сказал парень, не оборачиваясь. Молодой, лет двадцати пяти, в замасленной куртке техника. — Тео. Механик глубоководных систем. Это я готовил ваш батискаф. Перебрал аварийную капсулу — знаете, ту, что отстреливается сама, если корпус сдаст. Старьё, механика, без единой нити, — но я такое люблю. Железо, которое переживёт человека и вытолкнет его наверх, даже когда человек уже махнул рукой. — Он кивнул на океан. — Хорошо там, внизу?

— Тихо, — сказал Козлов.

— Тихо. — Тео затянулся. — Единственное тихое место на планете. Наверху нигде не тихо, даже когда молчат. Особенно когда молчат. — Он повернулся, и Козлов увидел, что за ухом у парня нет нити — ни свечения, ни шва, ничего. Го-

лая кожа. Отключённый. Редкость такая, что Козлов невольно посмотрел дважды.

— Ты не в Сети, — сказал он.

— Не в Сети. — Тео достал из кармана куртки потрёпанный бумажный блокнот, показал, как показывают документ, и убрал. — Пишу сюда. Считаю в уме. Помню сам. Старомодно, знаю. — Он усмехнулся без веселья. — У меня был брат. Старший. Он пошёл в первую волну добровольцев на раннюю модель импланта — деньги хорошие, романтика, «шаг человечества». Вышел из клиники улыбчивый. Знал про меня всё: как меня зовут, где родинка, что я не ем лук. Всё факты знал. А молчать со мной, как раньше, — разучился. Сидели рядом, и он всё говорил, говорил, ни одной паузы, будто в паузе он бы пропал. — Тео раздавил окурок каблуком. — Через год его не стало. Не тела — его. Тело ещё ходит где-то, подключённое по горло, счастливое. А брата нет. С тех пор я череп держу при себе.

Козлов молчал. Внизу, под ними, под милями воды, пел маяк, а рядом стоял мальчишка, который своим горем, сам того не зная, уже произнёс диагноз всему, что Аeon называл будущим.

— Странная у нас команда, доктор, — сказал Тео, глядя в тёмную воду. — Тридцать человек, и все слышат друг друга через полмира, а поговорить не с кем. Вы вон вниз ныряете, чтоб побыть одному. Я курю, чтоб побыть одному. Только мёртвые да отключённые здесь и одни по-настоящему. — Он

помолчал. — Вы поосторожнее с тем, что нашли. Я железо чую. Когда что-то очень хочет, чтоб его открыли, — я это по вибрации в корпусе слышу. Ваша штука внизу хочет. Сильно хочет.

Он ушёл, оставив Козлова с ветром и с первым за одиннадцать лет разговором, после которого не хотелось стереть себя.

Каюту Анны на «Талассе» не разбирали. Не из сентиментальности — просто платформу законсервировали после её последней экспедиции, а когда расконсервировали под контракт Аеоп, до дальнего отсека не дошли руки. Козлов открыл дверь своим старым кодом, и код сработал. Одиннадцать лет, а код сработал.

Внутри пахло ничем. Он зачем-то ждал запаха — её, того, что жил в вороте её свитеров, — но время честнее памяти, и пахло только сухим железом и остывшим морем. На столе лежала её рабочая планшетка, мёртвая, разряженная. Он поставил её на зарядку и сел на узкую койку, и койка приняла его вес с тем же скрипом, с каким принимала одиннадцать лет назад, когда он приходил сюда спорить с женой о будущем человечества и уходил, не переспорив.

Она была права. Он знал это теперь так, как знаешь диагноз, — поздно и бесповоротно. Аня Козлова, со-архитектор нейроинтерфейса Weave, женщина, чьим именем подпи-

саны три патента, лежавшие в основе того, чем сегодня дышало полмира, — в один год перестала верить в собственное детище. Не постепенно. Резко, как перерубленный трос. Она вернулась с этой самой платформы, из этой самой экспедиции, и привезла слово «маяк», и с этим словом перестала быть гениальным инженером и стала — для Сети, для коллег, для мужа — техно фобом. Уставшей. Сорвавшейся. «Аня переутомилась», — говорил он тогда, глядя мимо, взглядом сквозь, и каждое это слово теперь стояло у него попереёк горла костью.

Планшетка ожила. Он взял её, и старая система, не знавшая новых протоколов, послушно раскрылась под его пальцами — файлы, папки, честная мёртвая архитектура, где ничего не пряталось само собой. Экспедиционные логи. Батиметрия. И папка без названия, одни цифры — координаты. Он узнал их. Это были координаты аномалии. Той самой. С точностью до секунды дуги.

Аня была здесь. Аня стояла над этим одиннадцать лет назад и молчала об этом одиннадцать лет, потому что он не дал ей говорить.

Он открыл папку. Внутри лежал один файл, помеченный её рукой — не голосом, не мыслью, а буквами, набранными вручную, будто она не хотела, чтобы это касалось Сети даже краем. Три слова заглавными:

НЕ ОТКРЫВАТЬ. МАЯК.

Козлов сидел с планшеткой в руках, и латунная стрелка

на его запястье, отвыкшая от давления, тихо тикала в такт сердцу, отсчитывая глубину, которой здесь, на поверхности, не было.

Часть вторая. Маяк

Он не открыл файл в ту ночь. Сказал себе — поздно, устал, разберусь на трезвую голову. Соврал себе так же гладко, как одиннадцать лет назад. Настоящая причина была проще и стыднее: он боялся, что откроет — и там окажется бред. Бред уставшей женщины, паранойя, которую он тогда назвал переутомлением и почти в это поверил. Ему легче было держать Аню правой мёртвой, чем рискнуть найти её сумасшедшей живой.

Он открыл файл утром, когда на платформу пришло первое солнце.

Это был не бред. Это был лучший инженерный доклад, какой он читал в жизни, — холодный, точный, страшный именно своей точностью. Аня картировала кристалл. Не аномалию — кристалл, она называла его так уже тогда, — и описала то, чего приборы Аеон не увидят и через одиннадцать лет, потому что не будут искать. Она измерила его несущую частоту. И частота совпадала — не приблизительно, а нота в ноту — с базовой частотой Weave. С той струной, на которой держалась вся глобальная Сеть.

«Он вещает на нашей волне, — писала Аня сухо, без единого восклицания. — Или мы построили нашу волну на его. Я больше склоняюсь ко второму. Это не находка. Это приёмник, ждавший передатчика. Мы построили передатчик. Мы

называем его прогрессом и подключаем к нему детей».

И ниже, в самом конце, единственная фраза, где инженер сорвался в человека:

«Маяк не зовёт. Маяк предупреждает: не подходи. Мы подошли и назвали свет гостеприимством».

Козлов дочитал и долго сидел неподвижно. Потом сделал то, чего не делал давно, — открыл поток. Впустил Сеть в голову, всю, широко, как открывают окно в душной комнате. И мир хлынул: миллиарды тихих присутствий, гул общего разума, тёплый, обжитой, родной. Столько лет это называли чудом. Столько лет он и сам, в глубине, за всей своей латуною и стрелками, тайно этим дышал. Трудно бояться того, в чём живёшь.

«Паранойя, — подумал он, глядя в тёплый гул. — Гениальная, обоснованная, но паранойя. Совпадение частот можно объяснить общей физикой резонанса. Она искала предостережение, потому что ей нужно было, чтобы её вина имела форму пророчества. Как мне».

Он почти убедил себя. А потом пришёл вызов от Ники, и всё стало неважно.

Дочь возникла в его зрении — не картинкой на экране, а присутствием, наложенным прямо на утро, на солёный ветер, на планшетку в руках. Она сидела в палате клиники Меридиан, и светящаяся нить импланта вдоль её виска пуль-

сировала слишком часто. Козлов, читавший приборы всю жизнь, читал и это. Слишком часто.

— Ты подключился, — сказала Ника вместо приветствия. Она всегда чувствовала. — Что случилось, что великий отшельник впустил Сеть?

— Работа.

— Работа. — Она усмехнулась, и усмешка вышла с задержкой, микроскопической, но он поймал. Болезнь съедала не тело — время внутри тела. Задержки. Провалы. Секунды, которых не хватало нейронам, чтобы дотянуться друг до друга, и которые имплант достраивал ей чужим, ровным светом. — Ты в трёхстах милях от Бермуд финансируешь то, что убило маму, чтобы платить за то, что держит меня. Красивая петля, пап. Инженерно безупречная.

— Ника.

— Что «Ника»? Я прочла контракт. Я нейроинженер, если ты забыл, — это я, дочь, а не абстракция, за которую ты платишь. Аеон вскрывает мамину аномалию. Твоими руками. — Её голос дрогнул, и на этот раз задержка была не от болезни. — Она бы тебя возненавидела. Или нет. Она бы решила, что ты снова смотришь сквозь. Как тогда.

Козлов молчал. За её плечом пикинул монитор, и она, не глядя, привычным движением подтянула к виску светящуюся нить — жест, который он ненавидел и любил: она носила имплант матери открыто, не пряча под волосами, как знак, как знамя, как укор.

— Как ты? — спросил он наконец. Глупо, поздно, единственное, что было настоящим.

— Стабильно-нисходяще, — сказала она его же казённым языком, и он услышал, как она устала быть храброй. — Врачи говорят, курс держит.

Она отвернулась к окну палаты, и он увидел её в профиль — Анин профиль, ту же линию скулы, ту же упрямую челюсть. Болезнь пришла к ней по материнской линии, редкая, злая, разрушающая тонкую синхронность мозга, ту самую, на которой держится «я». Без импланта нейроны Ники теряли друг друга во времени, мысль рассыпалась на несвязанные вспышки, и человек угасал не в теле, а в связности — переставал быть собой раньше, чем переставал дышать. Имплант матери держал эту связность извне, достраивал разрушенные мосты чужим ровным светом. Ирония была совершенной, инженерной, Анина работа до последнего винта: та же технология, что убивала мир, была единственным, что удерживало их дочь в мире.

— Знаешь, что самое смешное, — сказала Ника, не оборачиваясь. — Я держусь на мамином изобретении и маминим же голосом повторяю, что мама была права насчёт этого изобретения. Я — ходячий парадокс, пап. Живое доказательство того, что нельзя разделить дар и проклятие. Они спаяны. Как ты и Аеоп. Как ты и я.

— Врачи сказали, курс держит, — проговорил Козлов. — Значит, держит. Значит, есть время.

— Врачи предложили больше, чем курс, — сказала Ника, и что-то в её тоне заставило его подобраться. — Позавчера. Люди Аеон, вежливые такие. Сказали: медицинский имплант — вчерашний день, полумера, латает и латает, а болель всё равно возьмёт своё. Есть другое. Полный узел. Не подпорка для мозга — замена. Они переносят «я» на несущую целиком, в Сеть, и там связность держится сама, без всякой синхронности нейронов, потому что нейроны больше не нужны. — Она наконец повернулась, и глаза у неё были сухие и злые. — Это лечение, пап. Настоящее. Не «стабильно-нисходящее» — насовсем. Мне предложили перестать умирать. Досрочное Вознесение, по медицинским показаниям, за счёт фонда. Подпиши — и через неделю ты звонишь не умирающей дочери, а дочери, которая никогда больше не заболеет.

У Козлова остановилось сердце — от простой, звериной надежды. Он открыл рот сказать «соглашайся».

— Я отказалась, — сказала Ника прежде, чем он успел. — Вчера. Подписала отказ.

— Ты... — Он задохнулся. — Ника, почему? Если это лечит...

— Потому что я нейроинженер, пап, а не пациентка, которой машут словом «лечит». Я прочла протокол переноса. Целиком. — Её голос был ровен и страшен той ровностью, какой бывает у людей, всё для себя решивших. — Он не переносит. Он копирует и гасит источник. Строчка за строч-

кой: считать участок — записать в Сеть — обнулить оригинал. К концу в кресле остаётся тело, а «я» — в узле, идеальное, полное и не моё. Оно будет помнить тебя, смеяться твоими шуткам, звать тебя папой. Но это буду не я. Меня к тому моменту уже сотрут — аккуратно, по кусочку, ради моего же блага. — Она усмехнулась без веселья. — Мама увидела это в большом, во всей Сети. Я увидела в маленьком, в одной медкарте. Одно и то же. Я лучше побуду собой те месяцы, что мне отпущены, чем стану вечной записью себя. Это мой выбор, пап. Не обстоятельств — мой. И я его сделала.

Козлов молчал. Он смотрел на дочь, выбравшую конечную смертную себя против бессмертной подделки, — и не знал ещё, что через несколько дней ему придётся сделать тот же выбор её руками, за весь мир сразу.

— Ты как мама, — сказал он наконец.

— Хуже, — сказала Ника. — Я как мама, которая ещё жива и может тебе всё это высказать в лицо. — И, помолчав: — Мама оставила там что-то. Я знаю. Она всегда дублировала важное вне Сети — не доверяла общей памяти, говорила, память, которую могут переписать все, не принадлежит никому. — Нить у её виска пульсировала часто, слишком часто. — Если найдёшь — прочти. И поверь ей хоть раз. Не мне. Ей. Хотя бы теперь, когда ей уже всё равно, а тебе ещё нет.

Присутствие погасло — резко, без прощания, как всегда у неё, будто она боялась, что прощание её выдаст. Утро вернулось на место: ветер, соль, планшетка, три слова её рукой.

Козлов сидел, и в основании черепа тихо саднило место, где только что была дочь.

Он снова открыл Анин файл. И на этот раз читал не как муж, ищущий оправдания мёртвой, а как отец, которому нечего терять.

К полудню платформа гудела подготовкой. Инженеры интерфейса — люди Аеон, прилетевшие вперёд Роука, — разворачивали в главном зале контур сопряжения: кольцо серебрястых стоек вокруг ложемента, с которого нить оператора должна была дотянуться до кристалла напрямую, минуя всякую осторожность. Козлов ходил между ними чужим. Они работали с той радостной слаженностью, что бывает у верующих перед литургией, и говорили о том, что делают, словами, которых он не слышал даже от Роука на экране.

— Вы понимаете, что мы стоим на пороге, доктор? — Лейла поймала его у контура; глаза её сияли, и сияли по-настоящему, не отсветом импланта — изнутри. — Не первого контакта. Больше. Аеон двадцать лет обещает Вознесение — слияние, шаг за тело. Все думали, это метафора, красивый маркетинг. А оно ждало нас на дне. Настоящее. Древнее. Оно умеет то, к чему мы только тянемся. — Она понизила голос, будто делилась чудом. — Я записалась в очередь на Вознесение шесть лет назад. Полтора миллиарда человек в этой очереди, Миша. Полтора миллиарда, готовых отдать

всё, чтобы перестать быть запертыми в одном черепе, в одной смерти. И вот оно. Под нами. Я буду первой, кто прикоснётся напрямую. Понимаешь, что это для меня значит?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.